



Москва

8
2013

УЧРЕДИТЕЛИ:

Союз писателей России

Российский Фонд Мира

Трудовой коллектив

журнала «Москва»



8

2013

16+

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- Юрий ВИГОРЬ. **Охотничьи рассказы** 3
Сергей МАРКОВ. **Исай-спасатель. Поэма** 39

Фестиваль русской литературы в Казахстане

- Айгерим ТАЖИ, Заир АСИМОВ, Павел БАННИКОВ, Юрий ВОВК,
Жанар СЕКЕРБАЕВА, Ксения РОГОЖНИКОВА, Канат КУЛАХМЕТОВ,
Дания МОСТОВАЯ, Роман ТАРАСОВ. *Стихи* 95
Тимур ЕРМАШЕВ. **Земляки. Рассказы** 105
Данияр СУГРАЛИНОВ. **Ценой жизни. Рассказы** 112

ПУБЛИЦИСТИКА

- Александр БОХАНОВ. **Революционное упоминание** 124
Александр АРЦИБАШЕВ. **Три века тагилки** 145
Сергей МИХАЙЛОВ. **Вперед, к домострою!** 153

КУЛЬТУРА

- Виктор БОЧЕНКОВ. **Староверы в войне 1812 года** 160
Анатолий ПАРПАРА. **«Суровый счет ведите всем утратам»** 175
«Такого музея в России еще не было...» Беседа
со Светланой СИВКОВОЙ 183
«Надо перестать лицемерить». Интервью
с Николаем ДОСТАЛЕМ и Михаилом КУРАЕВЫМ 188

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

- Олег МИХАЙЛОВ. **Репетиция эмиграции** 191
Елена ТРУБИЛОВА. **Переделкинский отшельник** 203

МОСКОВСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

- Валерий ОСИНСКИЙ. **«Национальный бестселлер» о чиновниках.** —
Иван ЛОПУХИН. **Мамонты и люди.** — Оксана ЛИПИНА. **Традиции
дома Романовых.** — Наталья ПЛОТНИКОВА. **Лукан, Нерон,
Сенека и другие...** 206

МОСКОВСКАЯ ТЕТРАДЬ

Александр ВАСЬКИН. Иван Бунин: «Как знаменита была эта вотчина!» 214

ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ

Валерий ДУХАНИН. О жертве, жертвенности и ее пределах 229
Тимур ВЕЛИКЖАНИН. Несколько слов об Афоне 234
Ольга СИДЕЛЬНИКОВА-ВЕРБИЦКАЯ. Сельские батюшки 236

Главный редактор В.В. АРТЕМОВ (495) 691-71-10

Генеральный директор В.В. КОВАЛЕВ (495) 691-83-91

Ответственный секретарь О.И. КИРЕЕНКО (495) 691-83-64

Отдел прозы и поэзии Т.А. НЕРЕТИНА (495) 691-68-01

Отдел культуры О.Ю. ТАРАНЕНКО (495) 691-68-01

Домашняя церковь С.И. НОСЕНКО (495) 691-68-01

Главный бухгалтер Л.Э. БУДНИКОВА (495) 691-83-84

Заведующая редакцией М.В. БИКАШОВА (495) 691-71-10

Корректор О.И. ИВАНОВА

Технический редактор Е.Ю. ЕРОФЕЕВА

Общественный совет:

Архиепископ Костромской и Галичский АЛЕКСИЙ (ФРОЛОВ),
игумен ЕВФИМИЙ (МОИСЕЕВ), П.Н. КРАСНОВ, В.Н. КРУПИН, В.А. КУЛЬЧИЦКИЙ,
П.В. МУЛЬТАТУЛИ, И.И. ПЕРЕВЕРЗИН, В.Г. РАСПУТИН, А.С. САЛУЦКИЙ,
М.Б. СМОЛИН (председатель), архимандрит ТИХОН (ШЕВКУНОВ),
И.Р. ШАФАРЕВИЧ

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Отклоненные рукописи сохраняются в течение года. Рукописи, присланные по электронной почте, не рассматриваются. Материалы принимаются только в распечатанном виде по адресу редакции. Журнал не публикует поэмы, либретто и сценарии.

Подписано в печать 24.07.13. Формат 70x108 1/16. Бумага типографская № 2. Печать офсетная.
Тираж 3000 экз. Заказ 2071.

Свидетельство о регистрации № 554 от 29 декабря 1990 года Министерства печати Российской Федерации

Подписные индексы: **73253** — каталог РОСПЕЧАТЬ, **15612** — «Пресса России», **45211** — каталог «МАП».

Адрес редакции: 119002, Москва, ул. Арбат, д. 20. Телефон +7(495) 691-71-10. Факс +7(495) 691-07-32.

Электронная версия журнала: www.moskvam.ru

e-mail: priem@moskvam.ru

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография» Филиал «Чеховский Печатный Двор», 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1. Сайт: www.chpd.ru; e-mail: sales@chpk.ru, 8(495)988-63-87.

ISSN 0131-2332

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

© Журнал «Москва» № 8, 2013

ЮРИЙ ВИГОРЬ



ОХОТНИЧЬИ РАССКАЗЫ

Юрий Павлович Вигорь родился в 1940 году в Одессе. Окончил Одесский институт инженеров морского флота.

Еще в юности увлекся охотой, много путешествовал. В качестве специального корреспондента газеты «Труд» исколесил почти всю страну. Регулярно выступает в периодической печати со статьями и очерками на тему охраны природы. Печатался в журналах «Новый мир», «Север», «Крестьянка» и др.

Автор книг «У самого Белого моря», «Анзорские острова», «Дорогами России», «Охотничья жилка».

Лауреат журнала «Студенческий меридиан» за лучшую приключенческую повесть года (1982).

Живет в Москве.

Писатели на охоте

1

В вестибюле Центрального дома литераторов в Москве мне попалось на глаза крохотное объявление: «Первого августа в пятнадцать часов состоится собрание охотничьего коллектива». Зал на втором этаже был пуст, сиротлив, сыроват, гулок от безлюдья, в нем едва уловимо попахивало мышами и перекисшим вином. Когда-то здесь проходили заседания масонской ложи при императоре Александре I. У входа стоял, облокотясь на резные дубовые перила, худощавый человек, его пегие волосы были легки, как ковыль, со здоровым блеском. Он лениво шурил зоркие зеленоватые глаза и пощипывал сквозную бородку. Это был председатель охотничьего коллектива Московской писательской организации Ростислав Вадимович Дормидонтов.

— Вы первым явились на собрание, — сказал Дормидонтов. — Вы писатель?

— У меня был рассказ в журнале «Наш современник» и два рассказа в журнале «Сельская молодежь». Повесть «Там, где течет река Айвиксте» в издательстве «Грамата Драугс», в Риге, и рассказ «Дзинтра».

— Вы говорите, «был рассказ», словно у вас была любовь или болезнь, — усмехнулся Дормидонтов. — Сегодня мало кто пишет об охоте, — затеплился в его глазах огонек доброжелательства.

— Но я не член Союза писателей. Я инженер.

— Разве это мешает быть настоящим писателем?

— А я и не стремлюсь стать настоящим писателем. Слово «настоящий» пугает меня и похоже на слово «не стоящий». Разве писатель выбирает, быть или не быть? Признают его или нет?

— У меня в списках триста восемнадцать охотников, и все члены

союза. Триста человек платят членские взносы, чтобы держать дома ружье, а настоящих охотников можно пересчитать по пальцам. Который год пытаюсь вытащить на охоту главного редактора журнала «Знамя» Григория Яковлевича Бакланова. Отнекивается, юлит, уходит в тень, мол, занят по горло. Бакланов один из тех, кто хочет иметь дома ружье для собственной блажи. Леса, болота, мытарства с рюкзачком по долам и весям его не привлекают. Он человек кабинетный. И вот недавно купил еще одно ружье: «зауэр три кольца». Для бутафории. Или защиты от грабителей. Впрочем, не исключаю, что для самоутверждения. Одно ружье висит у него на стене в кабинете, другое в спальне.

— Многие мужчины мечтают иметь дома ружье, — сказал я. — Это желание возникает безотчетно, и только в качестве оправдания выстраивается мотивация. Зигмунд Фрейд назвал бы это комплексом рыцарства. Оружие будит в нас отзвуки прошлого, некий рыцарский атавизм. Можно поспорить, дарит ли человеку оружие тень мужества. Но в красивом ружье таится некая магия, позволяющая приподняться над обыденностью, над засасывающим бытом. Берешь в руки ружье, скидываешь к плечу, гладишь ложе, потом прячешь в чехол, а оно незаметно противится, не хочет расставаться, едва уловимые импульсы бегут по пальцам, ласково покалывают, зовут в дорогу... Кажется, кто-то незримый стоит за твоей спиной и манит в странствия.

— Моя штучная «ижевка» двенадцатого калибра для меня нечто большее, нежели друг, — сказал Дормидонтов, поджимая по-старчески губы. — Для кого-то она просто Иж-54, а для меня... — Он хотел сказать слово «жена», «подруга»... — Да вы поэт, психоаналитик, — засмеялся Дормидонтов. — В нашем творческом братстве вам будет интересно. Есть истинно охотничьи души, охотятся всерьез. Заядлый охотник критик Петр Васильевич Палиевский. Неутомимый зайчатник Иосиф Бенцианович Ржевский. Временами вспыхивает охотничья страсть у детского писателя Юрия Коваля. Он вечно в делах: пишет, лепит скульптуры, поет, ставит фильмы, сочиняет стихи. Но вдруг сорвется с привязи, звонит, умоляет: «Едем на охоту! На кого угодно! К черту Москву, к черту оголтелую суету». И тут возникает дилемма: куда поехать на охоту? Я не егеря, не охотовед, не вхож в «Главоохоту СССР», в «Росохотрыболовсоюз», не умею бить поклонны начальству, выклянчивать лицензии. Писатели воображают, будто в глубинке егеря только и ждут их. Наивные дети. Мечтатели. Ждут не нас. Ждут тех, кто с деньгами.

— Неужели вы не бываете писательской компанией на охоте? Не получаете лицензии на лося, оленя, кабана?

— Да упаси бог! Какие компании? Какие лицензии? Нас не уважают в «Главоохоте СССР». Оргсекретарь Виктор Кобенко не знает охотничье начальство. Писатели боятся чиновников. Трех человек на утиную охоту не соберешь. Автобуса у нас нет. Денег на охотничьи поездки ноль. На спортивные мероприятия средств нет. В Союзе писателей нет даже психолога. Рыбаки ездят поодиночке кто куда. А ведь можно создать рыбацкий клуб. Меньше бы торчали писатели в ресторане, в «Пестром зале», в буфетах. По сути дела, писателям негде общаться. И наверно, это кому-то выгодно. Писатели — страшные индивидуалисты. Они завидуют тому, кто едет на хорошую охоту. Негласно существует три ранга писателей. Есть кланы. И все же каждый живет в своей ракушке, как улитка. Самый компанейский охотник в нашем коллективе Владимир Санги, но он не уважает охоту по перу. Ему бы на зверя. Лося. Оленя. Да покрупнее! Мечтает о рогах. Хочет поохотиться на гону на лису. Я поостыл к бродяжничеству по

лесам и болотам, а был страшным фанатом. Охладел: годы. Устал, заела мелочевка, безденежье. Живу в плену фрустраций. Порой накатит неприятная тревога, чувство безысходности...

Мне было странно слышать эти признания. Мне казалось, в Центральном доме литераторов царит жизнеутверждающая атмосфера. Вестибюль сверкал чистотой. Громадный холл прохладен и как-то по-особому уютен, даже в летнюю жару. На стенах картины. Мягкие ковры приглушали голоса. Здесь не было и тени официоза. Открытость Дормидонтова подкупала. Его небольшое лицо с чертами мягкими, ярославскими, не рельефными светилось улыбкой, улыбкой не насмешника, а некой виноватостью, юродством, которое никак нельзя принять за шутовство. Если он и насмехался, то скорее над самим собой, над тем, что не вхож в кабинеты больших чиновников, работает без зарплаты, не имеет машины, связей. Безденежье в его речах звучало как достоинство. Мимоходом он дал мне понять, что, захоти, мог бы легко разбогатеть, стоило лишь принести свободу и независимость в жертву. Я не заметил, как раскрылся, расслабился, стал чуть болтливее и откровеннее, чем следовало неوفиту. Я подумал в ту минуту: будь я художником, я написал бы с Дормидонтова картину: как он стоит на тяге в лесу, с его старинным ружьем работы мастера Лепаж; с трепетным звуком рассыпаются падающие с высоты блеющие бекасы-барашки, слабая буроватая заря теплится за изволомом и золотит кору сосен и елей. В обличье Дормидонтова мне виделась едва уловимая простота обнищавшего дворянина, разночинца, нечто архаичное, старорусское, безыскусное. Некая святость интеллигента, несущего с радостью свой крест, угадывалась в нем. Я уже мысленно срисовывал с него тип настоящего русского охотника, который не пришелся ко времени строительства позолоченного коммунизма, не пришелся ко двору Союза писателей. Русский интеллигент не умеет кланяться, вымалывать лицензии, рассылать ходатайства на писательских бланках. Но можно добыть не мольбой, а публикацией охотничьих рассказов. Хороший охотничий рассказ был редкостью в те годы. Вальдшнепная проза исчезла. Журнал «Охота и охотничье хозяйство СССР» в писательской среде был не в чести, но в «Главохоте СССР» его любили. А я там печатался. Охотничьи рассказы давались мне. Я вот пишу эти строки и страдаю. Мне бы описать зорьку. Но нужен запев, затес, откуда строится изба. Ведь я попал в дом странностей, в дом творчества. И все его обитатели люди со странностями. В жилах Дормидонтова и впрямь текла дворянская кровь, а он скрывал, маскируясь под лирика-охотника, разночинца. Двадцать лет он трудился бесплатно в писательском союзе председателем охотничьего коллектива, но никто не описал его ни в одном рассказе, никто не сожалел о его уходе.

Более яркой фигуры для воплощения охотничьего духа, духа бескорыстного романтика я не встречал. Было в нем нечто тургеневское, патриархальное, барское, и это при полной нищете... Вот что значит порода. И удивительно, что Бог поспешил, не дал ему писательского таланта. А ведь мог Дормидонтов интересно написать о многом, знал забавные тайны писателей, семейные неурядицы, дурь застолий в укромных лесных избушках, промахи, разочарования, откровения. Он был верующим, аккуратно соблюдал посты, ходил в храм на Поварской, угол Нового Арбата. Это не мешало ему быть охотником, как не мешало Льву Толстому, Тургеневу, Лескову верить в Бога и стрелять зайцев из-под гончих, загонять лошадей. Но разве кого-то в Московской писательской организации интересовало, на что он существует, почему скверно одет,

худ до чрезвычайности и вечно небрит? Но борода его шла к аскетическому лику милого и беззащитного лесовина. О нем-то и стоило написать рассказ, а не о Георгии Семенове, человеке с барскими замашками, который на второй же день потребовал, чтобы я повез его на охоту на гуся. Я бы повез, да он не умел рано встать и опоздал на гусиный пролет в эту осень в Ярославской области, где я назначил встречу на сто седьмом километре в пять утра, в темноту, на поле скошенной ржи у шоссе. А лет был отменный, и со мной охотился Андрей Вирта. Я написал об этой охоте рассказ.

...Я поведал Дормидонтову, что знаком с главным охотинспектором Московской области Александром Ивановичем Гостевым. Дормидонтов не придавал этому значения и продолжал дуть в свою свирель о наболевшем:

— Многие писатели, как комнатные спаниели, утратили чутье, утратили весьма важное — поисковую струну жизни, без которой гаснут душа, плоть. Охотничьи инстинкты остыли, притупились, глаза утратили соколиную зоркость. «Ослепла» охотничья душа. Нам, молодой человек, надобен в председатели общества — ловец! Заводила с сумасшедшинкой. Гончатник за душами и лесными тенями, зайцами, лисами, не убитый рассудочностью и осторожностью, оглядчивостью, который поведет нас лечить сердца в леса. Только лес может вылечить мигрень и подагру прозаика Жукова. Он замучил меня: «Отвези на медведя! Хочу поохотиться “на овсах”».

— Могу взять, если не струсит, в Архангельскую область. Медведя там много. Летось я охотился на Летнем Берегу, рядом с деревенькой Летняя Золотица. Встретились в лесу мне семь медведей. Семья. Главное — не беги оголомь, не смотри им в глаза... А вот на овсах трудно выцелить мишку при луне: перед глазами роится в потемках сплошной стеной гнус, воздух буквально дрожит, вибрирует, звенит от комариных песен. Стрелял я зверюгу на сорок шагов. Убил со второго выстрела. Лес густой, ельник. Вышек нет. Не принято у поморов с вышек стрелять. Зазорно. Пока тащился в деревню, созывал мужиков на добычу, гнус выел медведю глаза до кости. Вот вам и приморье. Гнус заест. И Жукова съест.

— Вряд ли Жуков рискнет тащиться в такую глухомань, он хочет стрелять с вышки в Тверской, Костромской области. Рисковать писателю его масштаба нельзя.

— А у него есть масштаб? — удивился я. Читал я унылую повесть «Владимир Иванович».

— Жуков дал мне понять, что пишет роман об Алексее Константиновиче Толстом. Карабина у него нет, но есть «ижевка» двенадцатого калибра. Он не курит. Человек степенный. Дача в Боровском.

— Это не принципиально. Я стреляю медведя в тех поморских краях из штучной «ижевки» двенадцатого калибра. А вышку для Жукова можно сколотить. Но если заранить медведя, вышка не спасет. Может задрать Жукова вмиг. Тут, как говорится, охота без гарантии. Второго стрелка рядом не посадишь для страховки. Запах зверя отпугнет. Не выйдет... Почует.

— Жаль, — вздохнул Дормидонтов. — Если Жуков убьет медведя, о вас заговорят в ЦДЛ многие писатели. Выделит деньги на чучело профком. Поставят трофей в «Большом Союзе», перед кабинетом Георгия Макеевича Маркова. Он был охотником в молодости.

— Жаль, не доводилось мне читать книг Георгия Макеевича, — виновато обронил я.

— Есть у нас замечательный сибиряк, охотник с юморком Леонид Кокоулин. Ему темя проклевали во сне глухари. А он торчит в «Профиздате», пишет о рабочем классе, о профсоюзном движении, опух от городской тоски.

Дормидонтов оглянулся по сторонам, как встревоженный тетерев, вошел в зал, бросил свою потертую папку на стол и плюхнулся в старое дубовое кресло, которое ответило недовольным криком.

— Таланта литературного у меня нет! — вздохнул Дормидонтов. — А то бы много интересного написал о писателях. Веду дневник для упорядочивания мыслей и событий. Работаю на полставки в охотничьем журнале редактором. Председателем писательского коллектива стал случайно. Своя оргсекретаря Кобенко Виктор Павловича на вальдшнепиную тягу к себе на дачу: по Киевской дороге, у деревни Елагино. Тяга была в ту осень отменная. А на другой день за ужином в ЦДЛ попросил он меня помочь собирать членские взносы, а заодно стать председателем. И вот я, извольте видеть, сборщик охотничьих взносов. Кассир! Все наши писатели-охотники ленивцы, скрипят и скрипят перьями, нет времени съездить уплатить взносы, продлить охотничий билет. Творческий процесс, видите ли, идет. Пришло вдохновение: строчка — рупь! Когда уж тут выбивать лицензию на кабана, лося, оленя. Ждут: вдруг пригласят на охоту. Настоящих охотничьих писателей, «Пришвиных», в нашем коллективе нет. Охотничьи рассказы пишет только Вадим Чернышов. Но и он индивидуалист. Ездит в одиночку на уток да вальдшнепов. Изредка печатается в журнале «Охота и охотничье хозяйство СССР».

— А ведь можно заключить договор с охотхозяйствами. Писать очерки об охотах. Есть охотбазы, которым нужна реклама. Из благодарности организуют любую охоту.

— Да что вы, какие уж тут очерки. Эти очерки об охоте надо пристраивать, пробивать в печати. Ждать, когда поставят в план. А реклама требует быстроты. Охота в жизни Московской писательской организации — эпизод.

Я слушал Дормидонтова с пристрастием. Его слова баюкали меня. В ту пору я был рядовым членом Московского городского общества охотников, изредка ездил на кабанов, лосей. Дружил с егерем Кудлайтисом в Литве, бывал на реву оленей осенью, в пору гона. Ездил в Кострому на отстрел товарных лосей. Меня ценили как загонщика за неутомимые ноги и верный глаз. Я мог пробежать по лесу пять километров. С юности я занимаюсь спортом. Могу заночевать под елью у костра, на лапнике.

— Вы человек природы! — внимал моим откровениям Дормидонтов. Лицо его стало словно промасленное от широкой улыбки. — Вы нам нужны, — токовал он как тетерев. — Я назначил это собрание, чтобы сообщить господам писателям: я покидаю сей высокий пост! Тем более что мне не платят. Лямка не по силам старому оленю.

На лестнице послышались шаги охотников. В зал заглянул Юрий Коваль. Заглянул как-то робко, с осторожностью, с опасливым любопытством, как скворец в новый скворечник. Дормидонтов разом умолк, развязал тесемки на папке, стал нервно листать охотничьи списки. Он представил меня Юрию Ковалю:

— Вот, извольте: молодой лесной бес! Охотник до мозга костей! Знает заветные места. А я, признаться, хочу уйти на отдых. Надоело. Как вы думаете, не выбрать ли этого молодого писателя в председатели?

— Можно взять на должность ловчего! — улыбнулся Коваль и заговорщицки подмигнул мне одной половиной лица. — С писателями не будет скучно, поверьте.

Георгий Семенов пришел следом за Ковалем. Он держался индифферентно, вошел молча, пожал всем руки и сел в кресло у окна. Легкой походкой впорхнул в зал Юрий Махненко, председатель профкома Московской писательской организации. За ним явился прозаик Петр Кириченко с другом — поэтом Иваном Поддубным. Неторопливо вошел, сел в кресло известный критик, ярый славянофил Петр Васильевич Палиевский, заядлый собачник. Едва уловимая усмешка плавала на его губах. Позже он мне признался, что из всех собраний, на которых ему довелось бывать в жизни, охотничьи собрания были ему милее всего. Палиевский держал двух охотничьих собак: спаниеля и сеттера-гордона. Петр Васильевич свято верил, что в русской литературе нет ничего прекраснее и лиричнее «Записок охотника» Тургенева. Семь лет назад он написал книгу «Записки охотника по болотной дичи», но до Тургенева ему было далеко. И тем не менее за этот шедевр он заслужил среди писателей-охотников ласковое прозвище Хорь.

Я сидел на краешке стула у окна и изучал лицо Палиевского. Высокий лоб, впалые щеки, большой рот, как у кукушки, маленькие, птичьи глаза, прячущиеся в глазницах, как в гнездышках, желваки на скулах — все это говорило о натуре скрытной, недожонной, подозрительной. Книгу «Записки охотника по болотной дичи» я купил год назад. Написана несколько суховато, в назидательном тоне, словно писал учитель гимназии. Меня удивило: откуда в этом желчном человеке, прагматике с холодным, рассудочным умом охотничья страсть?

В отличие от меня, Дормидонтов не смущался общества писателей. Он был человеком без комплексов и сразу перешел к делу.

— К великому сожалению, господа охотники, я не могу обеспечить поездок на охоту в этом году! — сказал он. — Путевок на охотбазы у меня нет. Мы не помогаем охотхозяйствам, нас там не ждут. Транспорта по-прежнему нет в нашей писательской организации. Мы не проявляем ни малейшей дипломатии, не ищем лазеек, не проводим встреч с охотинспекцией, с «Главохотой», с «Птицепромом СССР». Даже не дарим авторские книги охотоведам. А могли бы. Ну что нам стоит закупить охотничью литературу в «Лавке писателя». Там продаются сейчас четыре тома из переизданного собрания сочинений Сабанеева. У меня не раз просили Сабанеева егеря. Просили книги для детей. На хуторах, в деревнях книг нет, там забыли о книге. Ни на одной охотничьей базе нет библиотечки. А у многих писателей шкафы ломятся от старых книг.

— Я могу подарить три экземпляра романа «Вольная натаска», — сказал Георгий Семенов. — Но там речь идет не столько об охоте, сколько о любви.

Иосиф Ржевский сказал:

— Я готов подарить четыре тома Сабанеева, если меня возьмут на охоту на тетерева. И вдобавок Полное собрание сочинений Валентина Катаева в девяти томах. Хотя Катаев никогда не был охотником.

— Готов подарить тридцать томов Чарльза Диккенса, — сказал Юрий Махненко. — Пусть мне устроят утиную охоту.

Дмитрий Дурасов предложил пятитомник писателя Семена Бабаевского и трехтомник Бориса Пильняка.

— Я могу предложить много старых детских книг, недавно чистил на даче чердак, — сказал критик Палиевский. — Есть годовые подписки на журнал «Новый мир» за десять лет.

Под конец собрания пришел поэт Валентин Устинов и предложил проехаться по селам и весям, по охотничьим базам и прочесть свои стихи. Валентин Устинов был не столько охотником, сколько собирателем старинных охотничьих ружей. Человек компанейский, необычайно общительный, он воспевал в своих стихах охотничье братство, брачные бои оленей, охоту «на реву», хотя не убил ни одного оленя. Он обожал охоту на тетеревов весной, но не убил ни одного тетерева. Он придумывал свои охоты.

Дормидонтов улыбнулся. Договорились, что все книги, предназначенные в дар охотхозяйствам, принесут в библиотеку ЦДЛ. Уже под конец собрания Дормидонтов принялся расхваливать меня. Все присутствующие решили, что я его давнишний приятель. Я был смущен; мне казалось, писатели внимательно изучают меня, читая на лице мои тайны. В ту пору у меня было ложное представление, что писатели — отменные психоаналитики и душеведы.

Дормидонтов прервал поток дифирамбов в мой адрес и предложил мою персону в качестве нового председателя. Это прозвучало неожиданно и несколько странно для моих ушей. Я был смущен. Я пребывал в замешательстве, но тем не менее это льстило моему самолюбию и забавляло меня. Мне казалось, я на сцене, где идет спектакль. Я жертва прихотливого случая. Ведь я не давал Дормидонтову согласия. Я был еще полон сомнений. Противоречивые чувства боролись во мне. Я страшился новой обузы. Да, я не прочь приобрести новых знакомцев, но не хочу быть никому слугой. «Прислуживаться тошно!» Я не был членом союза, а значит, не мог держать себя как равный с равными, позиция моя была ущербной. И первый, кто дал мне это почувствовать, — Георгий Семенов. Он не сразу открылся мне. Он тихо улыбался и что-то черкал карандашиком на листке блокнота: позже я узнал, что он художник. Нет ничего дороже, чем остаться самим собой — пусть безвестным автором охотничьих рассказов, — но не попасть в зависимость. В ту пору я еще питал иллюзии и верил в благородство писательского духа и бескорыстия. Мне хотелось узнать тайны творчества, попасть в храм жрецов. Я не знал, что писатели никогда не откровенничают относительно творческих приемов, держат сюжеты в строжайшей тайне и никого, даже жен, не пускают в свою исповедальню. Показать товарищу неопубликованную рукопись считалось верхом неосмотрительности. Я не встречал более замкнутых людей.

— Есть другие кандидатуры на пост председателя? — обвел взглядом зал Юрий Махненко. — Говорят, вы отчаянный медвежатник? — обратился он к Петру Кириченко. — Может быть, займете пост председателя?

— Враки. Кто-то пошутил. Я зайчатник, — поспешил отвести свою кандидатуру Петр Кириченко, выезжавший на охоту всего три раза в жизни. Мое мнение о нем как о честолюбце, человеке с ранимым самолюбием в дальнейшем изменилось. Он носил на себе фанерную броню, раскрашенную в стальные тона.

— Жаль, жаль, что вы покидаете наш коллектив, — сказал бесцветным голосом Георгий Семенов и причмокнул по-старушечьи губами.

— Я должен отдохнуть, — улыбнулся Ростислав Вадимович. — А там поглядим.

Махненко пытался вызвать охотников на откровенность и узнать, куда поехать на утку. От него отделялись шутками.

Официальная часть собрания закончилась. А через две недели было новое собрание, его назначил ответственный секретарь Московской писательской организации Виктор Кобенко. Он потребовал, чтобы на собра-

нии присутствовал Дормидонтов. Дормидонтов пришел уже под конец. Но и на этот раз никто не изъявил желания быть председателем. И тогда Виктор Павлович Кобенко предложил мне вести охотничьи дела.

— Надеюсь, вы понимаете, платить вам не с чего, должности охотоведа или председателя официально у нас нет. Но взамен трудов ваших на благо общества вы обретете дружбу писателей, — сказал он.

Я толком не знал, в чем заключаются мои обязанности, и заявил, что не собираюсь быть Санчо Пансо, но помочь поехать на охоту могу. И прошу не считать меня председателем охотколлектива, просто будем дружить.

— Мы уже выбрали вас, — сказал Кобенко. — Отступать поздно.

— Когда собираться на охоту? — спросил с оттенком иронии Юрий Коваль.

Юрий Махненко отвел меня к окну и сказал с болью в голосе:

— Мой друг, скажите без обиняков, мы можем поохотиться на уток? Машина есть. Мой друг работает завгаром. Мы возьмем его и моего брата. Больше никого. Ни одного писателя. К черту писателей. Я устал от болтунов.

— Я позвоню вам послезавтра, — ответил я.

Уже под занавес Дормидонтов заявил, что охотничьи взносы платятся неаккуратно и он предлагает каждому охотнику лично ездить в Ворошиловское охотничье общество оформлять свой билет.

— Нужна роспись в ведомости каждого охотника об уплате взносов, вышли новые правила, — добавил он.

2

Я не испытывал ни особой радости, ни жадного любопытства, но мне было приятно познакомиться со списками московских охотников. Этот список со временем станет историческим документом, кто-то заинтересуется: как жил писательский мир в советские времена, какие у писателей были пристрастия? как отдыхали писатели, о чем говорили на охоте, о чем мечтали, как делили добычу? Люди, по сути дела, не знают писательских миров. Писатель — это человек в себе, как говорил Иммануил Кант. Он редко открыт, редко откровенен. Зачем он пишет? Что ищет он в бумажном море? Вот-вот исчезнут гонорары. Слава так непрочна. Через пять лет никто не станет читать Гария Немченко, Бориса Можая, Анатолия Ананьева... Все смоеет волна времени. Но охотничьи книги будут цениться всегда. Как старый букинист и коллекционер, я знал, что любая книга об охоте всегда будет цениться. Открытки на тему охоты стоили очень дорого. Я собирал охотничьи книги, покупал у старушек библиотеки старых охотников. В мире охотничьей литературы ничего никогда не устаревало, были интересны даже маленькие, укромные мирки, особенно маленькие житейские подробности на охоте. Повадки зверей мне менее интересны, нежели повадки людей. Аксаков не отразил мир человеческого охотничьего русского быта. Его отразил Тургенев в простом рассказе «Хорь и Калиныч». Ведь охота была не столько охотой за добычей, сколько уходом от мира обыденности в мир уединения, в мир «брачующегося тайно с природой охотника в лесу». Так я написал в романе «Охота Петра Второго». Но это уже рекламная пауза.

Вряд ли Ростислав Дормидонтов знал толком всех маститых московских писателей-охотников, их чаяния, причуды, особенности характера.

Он не знал молодежь, тянущуюся к охоте, рыбалке, не умел сплотить людей. Сплотить писателей — трудная задача. Дормидонтов подарил мне «Справочник Союза писателей СССР» с телефонами и адресами.

— Сам я не звоню, никого не приглашаю, — сразу предупредил он.

И я не собирался никому звонить. Опыт показал, что ничего ценного от этих людей я не мог получить, профессиональным опытом делиться никто не стал. Многие фамилии в списке охотников мне были абсолютно неизвестны. Я листал справочник и удивлялся обилию писателей в Москве. Это была армия. Весьма пестрая и совершенно разобшенная. Полковых командиров, ротных, взводных не было в ней, царил хаос. Я сравнил бы эту армию с отступающим войском Наполеона. Каждый думал только о себе и своих личных проблемах. В первую же встречу я увидел в людях невероятный эгоцентризм. Я не знаю, что могло сплотить людей, жаждущих охоты. Творчество? Вряд ли. Писательский мир не мог стать плодотворным ульем. Тип советского писателя следовало бы мумифицировать и создать небольшую комнату восковых фигур: рабочих секретарей, обитателей ресторана ЦДЛ, партийных бонз от литературы. Сергей Михалков был охотником. Он тотчас просил повезти его на волков. Георгий Макеевич Марков был охотником, имел два ружья. Но его никто не приглашал на охоту. Это меня удивило. Любопытно было реконструировать писательскую верхушку, показать на охоте. Среди писателей-охотников было двенадцать человек с еврейскими фамилиями, два латыша, семь узбеков, пять армян, шестеро грузин, три молдаванина, два чукчи, пятнадцать ненцев, восемь эскимосов, четыре литовца и один эстонец. Я не упоминаю здесь русских охотников, ибо их было в списке великое множество. Меня удивило, что в списке охотников был Василий Аксенов, Фазиль Искандер, Борис Можаев, Виль Липатов, Евгений Евтушенко, карел Вайно Кэфриков, поэт и знаменитый собиратель анекдотов Иосиф Бенцианович Ржевский. Я понимал: я для них человек другой стаи, другого клана. Вряд ли они увидят во мне охотничьего писателя. Но я ведь не только охотник. Я был начальником управления подземных работ и строил секретные объекты под улицей Ильинкой, а позже создал науку о развитии территорий и разработал проект разворота Москвы на юго-запад. Я знал, как спасти Москву от пробок. Но дело было в этой задаче. Заводы исчезали в Москве. Она становилась скопищем потребителей. Москва была обречена. И никто не знал, что я напишу ряд ужасных инженерных романов о Москве и создам теорию катастроф. Они видели во мне просто егеря. И я играл эту роль.

Поэт Иосиф Бенцианович Ржевский сказал мне однажды:

— Уведите меня в стан погибающих за великое дело любви к природе.

...Я мог стать проводником в мир охоты за иллюзиями в русских дремучих лесах Архангельской, Вологодской, Кировской, Тверской областей, где я скитался уже пятый год в пору отпусков. Из-за вредности работы под землей у меня был отпуск два месяца! Я написал двадцать шесть рассказов, но не знал, где напечатать. Спрос на охотничьи рассказы был в те годы огромный, однако солидные издательства не печатали «вальдшнепиновую прозу». Приходилось писать в стол.

— Дефицит бумаги, — сказал мне заведующий отделом прозы Смирнов в журнале «Просторы Севера». — Я бы напечатал все твои рассказы. Но нет ресурсов. Могу печатать в год по два рассказа. Сходи в «Московский рабочий».

Дормидонтов прожужжал уши оргсекретарю Московской писательской организации Виктору Павловичу Кобенко, что я невероятный романтик,

следопыт, прошел пешком половину Архангельской области один, с рюкзаком за плечами и ножом на поясе. Могу добывать белых куропаток в тундре силками, умею подманывать птиц на все голоса, питался корешками трав и деревьев, плутал на Летнем и Зимнем Берегах Белого моря. А ко всему прочему обладаю феноменальным нюхом и умею разжигать костры из плавника без спичек. Кобенко посмеивался. Его не интересовали повести и рассказы. Партия доверила Виктору Павловичу роль «смотрящего» за Московской писательской организацией по линии КГБ. Когда-то этот человек был опереточным певцом, работал в Воронежском театре, потом стал инструктором райкома партии, попал благодаря связям в Москву, в Краснопресненский райком, и вот с 1979 года стал оргсекретарем Московской писательской организации. Через него проходили фонды жилплощади для писателей, дачи, дачные участки, путевки в дома отдыха, загранпоездки. Он ведал кассой взаимопомощи. Почему он стал охотником? Что заставляло вздрагивать его пухлые пальцы при прикосновении к охотничьей двустволке? Что гнало в леса и болота? Удивительный это был персонаж, вылепленный Богом словно в насмешку над настоящими охотниками и не описанный никем. Его побаивались, сторонились, в его кабинете никогда не былолюдно, окна затеняли шторы. Он любил полумрак. Восседал в начальственном кресле как в гнезде — уютно, прочно, — с удовольствием наставлял писателей и поэтов, критиковал, распределял садовые участки, путевки в санатории. За его спиной стоял мощный сейф. Его не описали в своих рассказах даже диссиденты. И вскоре я узнал тайны этого сейфа. Он умудрялся мирить евреев с чукчами, находил почву для консенсуса «враждующих» писательских станов — славянского и еврейского, которые частенько прокатывали кандидатов на приемной комиссии. Василий Павлович Аксенов однажды набрался мужества и бросил Кобенко в лицо:

— Гоголя на вас нет, Виктор Павлович! Я напишу про вас рассказ! Сатирический! «Психиатрический» рассказ!

— Пишите, — лениво махнул рукой Кобенко. Он со всеми недругами разговаривал на «вы». Стоило ему в разговоре перейти на «вы» — и было ясно, что ты попал в опалу. В душе он презирал писателей-диссидентов, считал их мягкотелыми улитками, слизняками, не способными объединиться в стаю.

Я благодарен судьбе, что смог узнать его на охоте, смог почувствовать как сеттер эту забавную человеческую личину, в которой роилось столько противоречий. Но в нем и впрямь жила настоящая, неподдельная охотничья страсть. Он становился на охоте простаком, а может, очень искусно играл роль простака, но я не слышал от него ни единого начальственного окрика на охоте, он преображался в лесу. Если требовалось, он послушно шел в загон на кабанов с веселым блеском в глазах, с предвкушением приключения и каким-то насмешливым отчаянием. Его манила неопределенность, непредсказуемость. Он устал просчитывать все ситуации в писательской жизни, писать на писателей доносы в КГБ. На охоте с удовольствием исполнял любую роль, сбрасывая тяжелые доспехи «смотрящего». Его рюкзак всегда был набит колбасами, банками со свиной тушенкой, черной икрой, коньяком. Он не жалел личных денег на охотничьи забавы. Он лечился в лесу и на болоте, как в санатории, выгоняя из себя бесов, душевные недуги. В нем просыпались целительные голоса инстинктов, пробуждался тихий, ласковый, вкрадчивый зверь. Он обожал выпить прямо на снегу, воткнув бутылку коньяка в сугроб в глухом овраге, при двадцатиградусном морозе, у костра из лапника «на кровях». У этого оглядчи-

вого, расчетливого жизнелюба был сочный, глубокого залегания тенор, от которого вздрагивали заиндевевшие стекла егерской избушки в лесу, вздрагивало изъеденное молью чучело тетерева на шербатом шкафу егеря Мочалова. Егерь охотхозяйства «Лесное» под Серпуховом Кузьма Дурдыкин закрывал глаза от избытка чувств и смахивал скупую слезу, когда Кобенко пел у открытого жерла печурки старинную охотничью песню: «Выпьем, други, за здоровье борзых». Он знал много старинных охотничьих песен. Просто так он не пел никогда в быту. Ему нужна была соответствующая атмосфера, компания сотоварищей по страсти. Молодым егерям он никогда не наливал стопки, но старикам, лесным зубрам, выставлял чарку после охоты, усаживал за наш стол. Пел только в тесном кругу, среди настоящих охотников, куда не имели доступа ни Георгий Семенов, ни Георгий Бакланов, ни Леонид Кокоулин. Он пел в деревенских избах с закопченным потолком после третьей чары так проникновенно, так трепетно, что по спине у меня бежали мураши. И сам же плакал. Сидящего рядом Вячеслава Максимовича Шугаева прошибала слеза. Кобенко резким жестом решительно смахивал слезу, наливал чару «до полных краев» и молча, долго, пристально глядел на огонь, метавшийся в жерле старой потрескавшейся печурки. Он был человеком контрастов, любил мизансцены, розыгрыши, маленькие тайны, неожиданные сюрпризы, обожал удивить человека свалившейся на его голову премией, санаторной бесплатной путевкой, какой-нибудь чепухой. Невысокий, полноватый, с хохляцкими ужимками и проскальзывающими в его речи украинизмами, он напоминал забавного веселого паука, создающего вокруг себя паутину невидимых нитей театра, некую таинственность, в которую хотел вплести и насмешить интересного ему человека, попавшегося как муха. И как смеялся он, освобождая жертву из паутины. Он не пил соки жизни из нас, начальственный садизм был ему чужд, но порой он развлекался, обрушивая неожиданно на жертву маленькую человеческую радость в виде бесплатной путевки в Болгарию, подкачивал свою ущербную психику мелочными страхами, его забавляла зависимость писателя от пустяка.

— Я пишу роман самими писателями, а не чернилами, — сказал он мне однажды на охоте, — их кровью, их страхами, ведь все они оборотни. Я из любого сделаю клоуна и приму любого в Союз писателей. А тебя не приму.

— Почему?

— Ты король в лесу! А мне обидно. В тебе два вершка, а во мне полтора...

Я не стал спорить с ним. На охоте в узком кругу друзей он прекрасно изображал писателей в лицах, передразнивал голоса, манеры, ужимки. Я диву давался, как он быстро научился у егерей из глухих, отдаленных районов подражать птичьим голосам, кряканью селезня на весенних разводах, крику раненого зайца. Этот крик напоминал нечетко произносимое слово «князь», надо было приглушить первую букву и положить кончик языка на верхнее небо. Ястреб-тетеревятник вскоре появлялся из гущи елей на эти жалобные вопли, мелькал пестрым исподом крыльев в коричневую крапинку. Кобенко хохотал от удовольствия, стоя на поляне и уронив шапку в снег. Надо же, он обманул ястреба! Он махал ему призывно рукой, а потом вдруг со смехом показывал кукиш. Но не стрелял. Он вообще редко стрелял. Стрелок он был праховый, «театральный». Его «тозовка» двенадцатого калибра доставала ему до подбородка и не ложилась в момент выстрела толком в ложбину у плеча. Но держал он ружье цепко, как жезл. Ему важно было само присутствие на охоте. Его заражала

охотничья стадность, разлитая в нас страсть, мы были в его глазах как бы его пациентами, людьми одной палаты номер шесть. Он не стремился быть лидером, не пытался командовать, не знал повадки зверей, не угадывал их тропы сердцем. Но подмечал все мои действия и запоминал. Звери чувствовали его на расстоянии. И уходили стороной. Он ужасно потел в лесу в своем колушке и двух свитерах. Лось никогда не выходил на номер, на просеку, где он топтался. У него был странный запах, мускусный, стойкий, овечий. Я не помню случая, чтобы он убил лося, оленя, косулю или кабана. Но вальдшнепов, уток убивал. Я всегда ставил его на краю леса на номер. Зверь чуял и возвращался в загон.

Меня удивляло: неужели в Москве в нашем коллективе триста восемнадцать писателей имеют ружья, а об охоте не пишет никто, кроме провинциальных самородков-охотников в журнал «Охота и охотничье хозяйство СССР»? Зачастую это были даже не рассказы, а зарисовки, схематичные отповеди о добыче зверя или птицы, описание маленьких забавных случаев, «историй со зверушками». Сам охотник, его душа оставались за кадром, двигателем этих литературных откровений были страсть, рефлексии тоскующей души. Героем рассказа становился добытчик. Стрелок. Да, мы заражены охотничьей страстью, но в рассказе должно пульсировать нечто большее — пробуждающее сердце, вызывающее катарсис. Страсти утомляют, приедаются сцены охоты, стрельбы влет, но яркие характеры и движения нашей вечно ищущей души не оставляют равнодушным читателя. Охотник человек очень ранимый, он не столько идет за дичью, сколько лечится в лесу, ему нужно удаление от города, от людей. Он стреляет тетерева за его страх. Сядь тетерев рядом на пенек, ни один охотник его не убьет. Беззащитность — вот истинное оружие в природе. Мы помогаемся не добычи, а какого-то очень важного качества, которое в нас прорастает, своей явленности в природе. Выстрел — это как бы знак приобщения к миру, заявка о своей забытой душе, попытка возврата в лоно жизни. Лес обновлял мою суть, забирал мою боль, дарил просветление, мудрость простоты, внятность. В моем столе лежала папка с двадцатью шестью охотничьими рассказами, но я не знал, где напечатать их, куда нести. В альманахе «Охотничьи просторы» у меня взяли два рассказа. Поставили в план книгу «Охотничья жилка»: двадцать один рассказ. Больше не брали, не позволял план на бумагу. Заведующий отделом охотничьей литературы Эрлен Петрович Киян никогда не увлекался охотой, не имел ружья, его коммерческий ум вело тонкое, верховое чутье администратора. Он «охотился» исключительно на авторов, зарабатывал на рецензиях, писал предисловие к трудам Сабанеева под фамилией «Колганов», музыканта из Гнесинского училища, моего знакомого и завязанного автомобилиста. Охотничьих писателей стране явно не хватало. Книжки об охоте раскупались мгновенно даже в букинистических магазинах. Но кто в те годы изучал читательский спрос на книжки об охоте?

Грустно, но в СССР в конце семидесятых умерла вальдшнепиная проза, охотничьи рассказы, где присутствовала душа тоскующего, ищущего смыслов бродяги по лесам. Дело даже не в описаниях природы, не в красках, не в эпизодах, не в охотничьих сценках. Дело в поисках человеком своего места среди природы. Юрий Казаков в те годы безотчетно странствовал месяцами по смоленской, калужской, тверской, архангельской глубинке, месяцами жил в поморских деревнях. Город не заряжал его сердце, Москва не дарила ему сюжетов, он глож в Москве, его снедала тоска. Он все чаще пил, никак не мог найти своего героя и вынужден

был сам стать этим героем. Он написал несколько прекрасных рассказов о бродягах, странниках, идущих ниоткуда в никуда. Охота спасала в нем что-то очень важное и дарила ему равновесие духа. Он был очень сентиментальным человеком. Я пытался его уберечь от пагубной страсти, увозил в леса.

Стоило мне засидеться в Москве, как во мне исчезли природные ритмы, пульсация некоей чистой энергии, потоки сознания, которые освещают душу. В прозе тех лет умирали голоса леса, голоса птиц. Вальдшнеп в литературе соцреализма был уже неузнаваем, неразличим на фоне грязных облаков от чибиса, болотного кулика, овсянки. Его гортанный голос, призывное «цвиканье» самок таяли в дымке психологической прозы. Деревенщики все больше удалялись от природы и писали «навынос», на потребу дня «проблемные» романы. Я не любил проблемной прозы Бориса Можаева. Его слова, фразы, абзацы не рисовали картин в моем воображении, рука не тянулась к карандашу — подчеркнуть удачное место в романе.

В «Новом мире» была опубликована повесть Елены Токаревой, где была изображена очень странная сцена охоты: герой убивал зайца «с человеческим лицом». Так было написано на двадцать седьмой странице.

В одной из книг писателя Леонида Кокоулина я прочел строки: «На сосне сидел пудовый глухарь. Жир, казалось, капал с его перьев на хвою. Я ударил из левого ствола. Он рухнул замертво, как боров, ломая ветки. С ужасом я думал, как буду тащить его к стану».

И этого человека я должен был в первую очередь пригласить на охоту. Он звонил Виктору Павловичу Кобенко, расспрашивал, что я за гусь. Все это я узнал от Дормидонтова.

— Ну что, есть реальные планы насчет охоты? — позвонил мне Дормидонтов в среду. — Не тяни, свози Виктор Палыча. Он мне вчера звонит и говорит: «Ну, ну, посмотрим, кого ты мне подсунул в председатели».

Я обиделся, услышав эти слова. Я не мог приглашать на охоту писателей и писательское начальство, не проверив охотничьи места. Дичь могла уйти. Утиных угодий в Подмосковье мало. Но роль председателя мне претила. Я позвонил Кобенко и сказал, что отказываюсь от этой дурацкой роли. Я буду просто другом леса!

— Ну что ж, ведь ты не в штате, ты вольный сокол, — сказал он. — Но помоги нам. Дормидонтов покинул нас.

Я выкроил в среду час на работе, заехал в Московское общество охотников на улице Строителей, зашел к Владимиру Лукину, старшему охотоведу, от него позвонил по межгороду в Шатурское охотхозяйство егерю Даниле Губкину.

— Утка в карьерах есть, можно утром, в подымок, пострелять, — сказал Губкин. — Снимаются стаи в потемь, идут кормиться в поля. На вечерке падает уже в темноте в болото чирок. Падет как тряпка на воду, с тихим всплеском и замрет. То ли кочка, то ли птица. Мажу по сидячим, влет не успеваю, они как охапка листьев падают со спины.

— А бекас есть?

— Этих полно. Не взять без собаки.

Я позвонил Кобенко и обрисовал обстановку.

— Сколько человек могут принять на базе? — спрашивает Кобенко.

— Трех, — отвечаю наобум.

— Поеду я и секретарь союза Вячеслав Шугаев. Выпиши нам путевки.

— Нужны ваши охотбилеты, — говорю я.

— Диктуй адрес, подвезет Леонид Кокоулин. У него уазик. Может, прихватим его на охоту?

— Утка есть в карьерах, но взять трудно, — говорю я. — Шикарного утиноного лета не будет. Охота в карьерах бродячая. Нужны бродни. Но безкасов тьма. Хорошо бы собачку, сеттера или спаниеля, натасканного на болотную дичь.

— У приятеля Шугаева есть английский сеттер и спаниель, — расплялся и ворковал Кобенко. — Придется брать и приятеля. Одним словом, жди Кокоулина. Если не возьмем его в этот раз, он не будет в обиде. Съездите еще. Он ужасно хочет познакомиться с тобой.

Я подждал Кокоулина. И вдруг Лукин говорит:

— Хорошо бы написать рассказ о шатурских болотах! Твои дружки-писатели могут написать рассказ? Я выпишу путевку на трех человек. На твой охотничий билет. Ты старший, отвечаешь за все. А за ночлег доплатите на месте. С тебя номер альманаха «Охотничьи просторы».

Я оплатил путевку, вышел на улицу. И тут подъезжает Кокоулин. Чем-то он напоминал обличьем важного, начальственного шмеля: очень собранный, напористый, щеки в склеротическом багрянце, глаза жалят, не улыбочивый рот застегнут прочно, как на кнопки, ни тени эмоций на лице, брюшко перевешивает за ремень.

— Значит, не берешь меня? — проговорил он медлительно, веско. Лицо каменное, в глазах жгучая обида. — Жаль, жаль, — дернулась угрожающе бровь, словно хлестнула короткая казачья плетка.

— У вас есть с собой авторская книга?

— Есть.

— Пишите автограф: «Дорогому председателю МОИРа Ивану Васильевичу Величкину от секретаря охотколлектива Московской писательской организации».

— Но я же не секретарь...

— Я назначаю вас с этой минуты своим секретарем.

Мы отправились к председателю МОИРа Величкину Ивану Васильевичу. Леонид Кокоулин тяжело пыхтел, поднимаясь по лестнице с книгой под мышкой. Объясняю секретарше Величкина:

— Я пишу очерк об охоте в Подмосковье для газеты «Труд». Иван Васильевич читал мои рассказы и очерки, мы лично с ним знакомы. Скажите, Юрий Вигорь, автор повестей «Заполевать гуся», «Убийство на охоте»...

— Ждите, сейчас доложу.

Величкин принял нас без проволочки, книге обрадовался, позвонил куда-то.

— Хотите поохотиться в Разлужье на Оке? — предложил он мне.

— Хотим, — отвечаю.

— Вы не против? — спрашиваю Кокоулина.

— Очень хочу поехать в Разлужье.

— Идите к старшему охотоведу Александру Михайлову, он вам выпишет путевки, — напутствовал нас Величкин.

Величкину надо бы посвятить отдельную главу. Бывший крупный партработник, он как по конвейеру попал в это кресло. Окончил школу ВПШ, всю жизнь руководил уборкой урожаев в Подмосковье. Лес ему знать было ни к чему, главное — организовывать охоты. Базы охотничьи в ту пору были жалкие, ветхие, «буранов» и прочей техники у егерей не было, редко в каком хозяйстве имелся на балансе старенький уазик. Не было даже бензопил. Мы с приятелем три раза приезжали в одно охотхозяйство зимой для очистки и санитарной порубки леса. Валили сухой

топорами. Я бы купил лично себе бензопилу — но где ее держать? Я жил тогда в коммунальной квартире, в комнатухе размером девять метров на Ленинском проспекте, в доме номер сорок, рядом помещался знаменитый магазин «Охотник», я часто заходил туда, беседовал с охотниками, вызнал места, у меня появилось много знакомцев в провинции. Жаль, не было даже гаража. Негде было хранить лодку. Деньги были, зарабатывал я на расчетах и проектировании систем кондиционирования воздуха немало, защитил кандидатскую диссертацию, но купить кооперативную квартиру было нельзя, я еще не прожил в Москве десяти лет. Я приехал в столицу из Прибалтики, из Риги. По вызову министерства. Квартиру обещали, а не дали. В Риге я свою квартиру сдал государству. Гараж купить тоже было нельзя. Хорошо хоть, удалось случайно записаться на машину на Варшавском шоссе, я как раз сдавал экзамен на права. И вдруг капитан ГАИ Гришечкин говорит:

— Гляди, бегут люди к третьему окну. Запись началась на «жигули». С ездой у тебя все отлично. Зачет. Дуй быстрее. — Вот так я купил совершенно случайно свои первые в жизни «жигули».

Я позвонил Кобенко, обрисовал обстановку и рассказал об охоте на уток в «Разлужье».

— Выбирайте, обсудите с охотниками, можете вчетвером ехать в Разлужье, а я сметаюсь проверю, как охота на шатурских болотах.

— Тогда бери с собой Юрия Нагибина, — сказал Кобенко. — Он мне вчера звонил. У него приступ ностальгии. Мечтает поехать на охоту. Запиши его телефон на даче на Пахре.

Зуб Юрия Казакова

1

Порой им овладевало жадное, настойчивое желание съездить на охоту. Это подступало словно ностальгический приступ, словно жажда очищения от городской суетности и приобщения к миру друидов. Он мог уехать на Смоленщину, уйти в лес один, влиться в него не инородной плотью, а крадущимся без треска сучков зверем, развести костер, нарубить лапник и уснуть под старой комлистой сосной, не думая о лесных ночных страхах, леших, разбойниках, волках, беглых арестантах. В эти минуты очищения духа от городской скверны он не давал воли своему воображению, смирял фантазию и погружался в себя, как монах-странник в молитву, жадно впитывал запахи, шорохи, разговоры птиц, рисунок полета шмелей. Он знал по опыту: прямо тут, на ходу описывать все это тщетно и даже унижительно для странника, охотника. Горопливо фиксировать на бумаге слепки жизни бессмысленно, рисунок будет все равно искажен, приблизителен, картинен, но он тем самым унижит тайну леса, неуловимую связь с ним. Надо пропитаться тайнами леса, почуять его звериную суть своей не обмякшей в городе, звериной сутью, молча зорко следить за робкими молитвами ветвей, кладущих безустанно поклоны ветру, разгадывать задумчивую скорбь верхушек сосен, тянущихся в аскетической мольбе к звездам. Страхи лесные придумал для человека сам лес. Придумал лешего, водяного, русалок, кикимор, вурдалаков. Надо же как-то защищаться от людей. Волк ни за что не нападет на взрослого человека:

запах человека приводит волков в ужас; этот кисловатый запах пугает весь лес, даже мышей. Лес чутко ловит запахи животных, фильтрует их и рождает свои, настоянные на хвое, травах, кореньях, прелой листве флюиды. Запах человека трудно уничтожить, вытравить с примятого мха даже еловой смолой. Но одному, со своей тайной, со своей болью, лес иногда опасен, человек начинает ни с того ни с сего разговаривать с самим собой, он словно приносит исповедь, он ищет очищения. Он не мог долго выносить это огромное, затопившее все окрест молчание. Ему нужны были разговоры, человеческое участие какого-нибудь случайного бродяги. Бродяге можно открыться, он, как ветер, тает в тумане, в дорожной пыли, в теплых сумерках, время убивает в памяти бродяг, как ночь убивает тень. Он никогда не стремился попасть на охотничьи базы, волчьи облавы, загоны на оленей, лосей, кабанов. Охота была для него фоном, декорацией, маленьким театром, где он выискивал случайных, спившихся егерей, пастухов, конюхов, сценки ночного, разговоры пасущих коней ребят. Сама по себе охота не заряжала его страстью добытчика. Его добыча таилась глубже, где-то за пологом леса, она не требовала крови, выстрелов, запаха пороха, убийства зверей. Убить пару чирков-трескунков, бекаса, вальдшнепа, коростеля — дело обыденное, но охота становилась ценнее во сто крат, если в центре внимания случайно оказывался рядом сельский охотник-неудачник, какой-нибудь Петруха со ржавой «тулкой». Охота — лишь затейливое обрамление, антураж, стрельба влет по случайной мишени. Болото, лес должны были стать антрепризой, ели, сосны, гончаки, тетерева — действующими лицами. Без напарника он не любил ночевать в глухом лесу, не лез в плавни, не любил вытаптывать дичь в болотных камышах, ему нужен был диалог, он любил украдкой, исподволь наблюдать за спутником, как за дичью, и пытаться увидеть мир его глазами. Порой он любил пальнуть по стае чирков на берегу заболоченной реки, глухого озерца в обрамлении зарослей ивы, багульника, волосца. Он пьянел от страсти, когда крался к дичи через заросли тягорослых кустарников, хватавших ревниво за отвороты сапог, любил постоять на вальдшнепиной тяге среди дуслистых лозин, тронутых багрянцем опадающего солнца. Он был «сухопутным» охотником, топтуном, и никогда не забирался в плавни, в камышовые дебри, его подводило воображение, грезилась топи, ямы. Он любовался болотами с берегов, не лез в камыши по грудь и побаивался трясины. Каких трудов стоили ему путешествия по глубинке в молодости, в одиночку, без спутника! Как томительно было прошагать десять верст пехом, в августовскую жару, открытым всем ветрам смоленским проселком, среди полей гречихи и ржи! Он был неважный ходок, быстро выдыхался с поклажей на плечах, плохо ориентировался в лесу, влет стрелял из рук вон скверно, без поводки стволов, просто «внаброс». Трудно заговаривал со случайным встречным, мучительно подыскивал нужные слова. Ему мешала в ту пору юности стеснительность. Он не был напористым, brutальным, раскрепощенным. Когда впервые отправился странствовать по Смоленщине, он взял с собой ружье «на всякий случай, для магнетизма души», как выразился он однажды с иронической усмешкой. Он разобрал свою старенькую двустволку ижевского завода, Иж-57, спрятал стволы и ложе в рюкзак, обернув фланелью. Он старался скрыть от любопытных глаз, что он охотник, скрыть от проводниц в поезде, от селян в автобусе и никогда загодя не надевал патронташа, в отличие от любителей щегольнуть охотничьей амуницией. Но в рассказах, где присутствовали сценки охоты, он любил описать амуницию, фляги, ружья в полном блеске, «похрустывающие» ремни, яловые патронташи, набитые

туго, весомо патронами, торчащие из обойм медные шляпки. Патроны в папковых гильзах были прозаичны, а вот в медных гильзах, залитых воском, были куда весомее по мощи в его глазах, они сверкали блеском доспехов и напоминали сплотившиеся перед атакой римские когорты. Он знал все марки знаменитых охотничьих ружей, марки дымного и бездымного пороха, номера дроби, картечи, разновидности пуль, способы зарядки патронов с крахмалом, подмешанным в дробь, для кучности боя. Но сам не заряжал патронов никогда. Зато любил наблюдать, как заряжают. Он называл меня алхимиком, друидом. Я никогда не покупал магазинных патронов, я не верил в них, ружья требовали пристрелки, марочные ружья были с норовом, у них была своя, особенная гордость, свой нрав, свой внутренний напор. Поездка на охоту была для Юрия Казакова не просто приключением, а очищением души.

— В дороге мне лучше думается, чем за рабочим столом, — сказал он, когда мы ехали на вальдшнепиную тягу в Толстопальцево. — В лесу вся городская чепуха, вся плесень суеты утрясается во мне и выпадает в осадок, сползает наносное, фальшивое одеяние духа, происходит очень важная утреска мыслишек, чувств. Отлетают неприметная измена самому себе, дурацкая игривость разговоров в ЦДЛ, глумление. Лес словно переключает рубильник в моем сердце, и через меня струится, как березовый сок, более высокий вольтаж. Порой даже покалывает кончики пальцев. Сам не знаю, как это происходит, но я заряжаюсь энергией от дрожащего блеска озер, сверкающих переливов на мелководьях, складок и морщинок рек, от вечно меняющегося лика водных просторов. Смешно сказать, но в юности ко мне привязались слова «лики озер», я пробовал описывать эти лики как лики святых, как глаза земли, как волоокую синеву беременных любовью молодых монахинь. Но я не мог написать ни строчки о том, как люди сливаются в озера и реки всякую всячину холодно и бездумно. Я хотел винить их и тупел, глож, что-то перегорало во мне, что-то странное случалось с душой. Я не журналист, не ассенизатор нравов. Журналисты препарируют мир рассудком, как патологоанатом лягушку. Ассенизатору нравов нужен запал гражданственности, нужен этический скальпель, некий нравственный скребок. А я пасую перед бедой, я слаб в борьбе с мерзостями, я не могу винить людей просто так, обезличенно, гуртом. Я мыслю образами. Я должен видеть. Мне необходимо подзарядиться от живого человека, от его боли, от его борений с собой. Я мечтал когда-то давным-давно написать рассказ об умирании безымянного лесного озера. Есть такой хуторок: Спас-Прогнанье на берегу лесного озера. Я хотел написать о последней обитательнице озера — зачумленной лягушке. Но не смог. Не вышло. Но кто-то же должен написать, что земля слепнет и молча плачет. Я чувю это, я слышу ее плач. Плач земли. Стон лесов. Песни лугов. С некоторых пор я не могу ночевать один в лесу, мне чудятся голоса, стоны деревьев, мольба травы. Лес требует от меня жертвенности, на чем-то настаивает, скорбно машут ветви и гонят обратно домой, велят писать и писать про их боль. Листва порой шумит возмущенно, трепетно. К чему бы это, старик? — говорил он, пока мы пробирались к реке Незнайке через густые заросли, где чернели покрытые тиной старые рамы тракторов, крылья сгнивших легковушек, колесные диски, дырявые ведра. Я удивлялся, зачем люди сносят все это добро на берега рек? Почему в провинции, да и в самой Москве, нет утильных контор для металла, старых машин? Вдруг Казаков остановился у кузова старого трактора, черневшего в грязи, и заорал радостно на весь лес:

— Глянь, вон в прелой листве бежит перебежками мышь!